

Громова Полина Сергеевна

Кафе

Кафе. Янтарный сумрак. Зеркала.
Приморский рокот речи. Капучино.
И ждет винила ломкая игла,
И можно улыбаться без причины.

А в крохотном окошке за спиной
Свежо, бесшумно, снежно и сыпуче.
Нескоро там повеет вновь весной,
Но так, наверно, будет только лучше.

Но снег заполонил весь белый свет,
И свет теперь весь белый в самом деле.
И даже если смысла в жизни нет,
В ней явно есть хорошая идея.

* * *

Туман и солнце. Это настает –
Преображая сумрак, наступает.
Откладывает птица свой полет:
Не ровен час, она сама растает!

Бесшумным седовласым волнам в такт
Покачивая парусами сосен,
Из мрака – или в дорассветный мрак? –
Плывут высокобортые откосы.

И день грядет – ничуть не сер, ни сир:
Что может узнаваемым казаться,
Когда привычный, осязаемый мир
Кончается у вытянутых пальцев?

Сосновый бор

Сосновый бор – мой дом и храм.
Гуляет ветер по хорам.
Его нечаянный порыв,
Смолистых свеч не погасив,
Качнул подсвечники ветвей.
Струится солнечный елей
Вниз по резьбе колонн-стволов.
Трепещут тени стебельков
Лесной травы среди корней...
И все желанней, все нежней
Несовершенство тишины
Под кронным куполом сосны.
И часто путь ложится мой
Домой, как в храм, и в храм – домой.

Отныне будет снег

«Отныне будет снег» - решил ноябрь,
И вот летят снежинки, хлопья, комья.
Телеэкран окна застлала рябь –
И без вести пропал пейзаж знакомый.

Исчез привычный город, канул в снег,
И, кажется, весь мир затоплен снегом.
Свободен белых волн безбрежный бег,
И по волнам плывут дома-ковчегии...

Снежинки с неба все летят, летят.
А по двору гуляет мама с дочкой,
И с веточкой в руке идет дитя –
И в облачке дыханья греет почки.

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ

Запечатлеть,
Остановив в своем движенье
Хотя бы бабочку, летящую сквозь свет
Осенних солнц, висящих ожерельем
Меж гроздьями рябиновых планет!
На годы, на десятки лет
Запечатлеть – и сохранить, не уничтожив,
Как уничтожит сущность бабочки янтарь,
Весь мир вокруг, и мир внутри, под кожей,
Немыслимо и не дано – и все же
О, как волнуют и тревожат
Круги дождя, аптека, улица, фонарь...

Бывает, дождь прицельно бьет в стекло,
И улицы, и мысли как в тумане,
И словно гость приходит пониманье,
Что все твое уже сохранено,
Не в фотографиях и даже не в кино –
Надежнее и тщательней бумаги.
Далекое трепещет в полушаге –
Душа искрится полотном.

В ней – целый мир, где солнце по утрам
Ждет за порогом горизонта в винной дымке,
Где траектории струящимся листкам
Случайно задает твоя улыбка.
Здесь – целый мир, величественно-зыбкий,
Со всеми книгами, написанными в нем,
Со всеми, с кем мы под руку идем
По ниточкам ветвей в стеклянных лужах,
С нелепой песней, рвущейся наружу,
Со звездной далью – в глубине любимых глаз...
И никому ведь не отнять мой мир сейчас –
Без права Бога, отнимающего душу.

Лирика

...И небо в чашечке цветка.

Уильям Блейк

Продлить закат. Остановить
падение листка.
Обындевший свод вписать
в колодца грозную глазницу.
Опасть росой –
По силам все,
Пока не кончится строка
Не пулей – точкой.
Просто точкой на странице.

Сгуститься свет, и между слов
пахнет грозой слегка.
Живой апрелести рябин
прильнет к окну немного.
Замкнется круг.
И что-то вдруг
Заставит дрогнуть крылья мотылька.
Не звук – но имя.
Просто имя Бога.

* * *

Мир исчерпался, и все повторяет былое.
Белая, черная, белая вновь полоса.
Осень... и сыплются листья кленового кроя,
Ветви – рисунки по небу – знакомы глазам.

Мысли привычно тиранят какую-то книгу:
В этом отрывке скончался герой имярек,
Так ничего до последних минут не постигнув...
Скоро наступит декабрь... Безумие... Снег...

Может быть, я – просто лишняя в книге фигура?
Стоило столько напрасно бумагу марать!
Белые, черные полосы... Клавиатура.
Мир, отступи! Это я начинаю играть!

Золотистые дни

Золотистые дни настали.
Воздух холоден, как роса.
Голубыми глубинами далей
Затянула осень глаза.

Кошка кинулась от порога
В бахрому березовых струй.
С нержавеющей губ водостока
Ветер вновь сорвал поцелуйц.

Сердце полнится сладкой болью:
Только выступишь за порог –
Облетевшая гречка тополя
Хрустит за щеками сапог.

Осень

Сброшены багряные наряды.
Листья в лужах – словно под стеклом.
Вслед на юг летящим журавлям
Форточка тоскливо бьет крылом.

Спутанные нитки паутины
Опустело кутают репы.
Спрятаны за пазухой рябины,
Словно крошки хлеба, воробьи.

Навалившись на плечо ограды,
Гладиолус головой поник.
Ночью у соседа в палисаде
Вымок позабытый половик.

Бьется в стекла сонно и упрямо
Шмель – бедняга, между рам попал.
- Может, за грибами ходим, мама?
- Шел бы ты... картошку перебрал!

Камень

Со дна морского камень всплыл...

Ю. Кузнецов

Замшелый камень выполз на дорогу
И, утомленный, лег в тени раки.
Но тень ушла, а путь был очень долгим,
И он лежит, тропинками обвит.

Проходит день, другой, проходит месяц,
Вот год уже почти что пробежал,
А камень все лежит на том же месте,
Как будто так всегда он здесь лежал.

Проходят люди – вправо, влево, прямо
От камня их расходятся пути.
А камень все лежит себе упрямо –
Ему-то с их дороги не сойти.

Ему бы в дождь укрыться под рогожей,
Да снег уже за шиворот напал.
«Чего ты здесь лежишь?» - спросил прохожий.
А камень не ответил – видно, спал....

Но нет, не спит он – камень копит силы,
Их нужно много, только чтоб вздохнуть.
Уйдя с давно заброшенной могилы,
Обратно в горы камень держит путь.

* * *

Мне мертвые понятнее живых.
Мне с мертвыми спокойней, чем с живыми.
Почти не нарушая тишины,
За именем произношу я имя,

Когда, начав желая разговор,
Читаю начертанья на табличках,
И мне немного жаль, что до сих пор
Я никого из них не знала лично.

Но вот они уже в моих руках.
Так долго с миром бывшие в разлуке,
Слежавшиеся крепко за века,
Они хрустят, когда берешь их в руки.

Они умеют плакать и острить
Не хуже нас, а то и лучше даже,
И стоит только им заговорить,
Живые речь не продолжают дальше.

Умело говорят беззубым ртом,
Когда их, крепко ссохшихся, тревожишь,
И тайно помышляют лишь о том,
Что ты потом на место их положишь.

В словах искрится призрачный эфир.
Не в нас, но в них он сохранен навеки.
И странно выходить в звучащий мир
Из склепной тишины библиотеки.

Улитка

Улитка мне понятна и близка.
Она живет в улиточной вселенной.
Пустыню из двух горсточек песка
Одoleвать здесь нужно постепенно.

И каждый день здесь надо заползать
На горы, что иным всего лишь кочки.
Влезать, спускаться, заново влезать –
Непросто жить в улиточном мирочке!

Ползи, и не зевай, а то склюют.
Ползи, едва проснувшись спозаранку...
Но скрученный улиточный уют
Имеет и приятную изнанку.

Улитка не боится темноты.
Везде нося с собой свою квартиру,
Улитка с темнотой всю жизнь на ты –
Она в ней смело прячется от мира.

Любить улиток можно и за то,
Что каждая с галактикой сравниться:
Ее спиральный мир, стремясь в ничто,
Другим концом в глубь космоса стремится.

Старый пушкинский фонарь

Вечерний дождь отшелестел листовой
И тихо скрылся.
Омытые им камни мостовой
Во влажных искрах.

Прилив принес с собой ночную мглу
На это место,
И небо плотно село на иглу
Адмиралтейства.

И вот в чернильной мгле блеснул янтарь –
На перекрестке
Зажегся старый пушкинский фонарь
В чугунной гроздке.

Он, как не сдавший вахту человек,
В жару и стужу
Который год – а может быть, и век –
Глядится в лужу.

Он видит из огней далекий мост –
Он вьется, гнется –
И кажется ему: среди этих звезд
Сияет солнце.

И рад он, если вновь увидеть смог
Далекий этот
Большой, медово-огненный исток
Тепла и света.

И невдомек ему, что небеса
Застлали тучи
И это отражается он сам
Во мгле тягучей.

* * *

Сосед спилил мосластую березу
С большим дуплом и берестой, как снег.
Ее трепали ветры, рвали грозы,
И вот она откоротала век.

Древесные часы остановились.
Покрылся липкой влагой свежий спил.
И то, что много лет росло, ветвилось,
Теперь лежит, поваленное в пыль.

Еще в земле вбирают влагу корни,
И шелестит узорная листва,
Но ствол древесный сок уже не гонит,
И ветви на ветру дрожат едва.

А за плетнем неровно-робким строем
Побеги поле переходят вброд,
И их часы, укрытые корою,
Отсчитывают новый оборот.

* * *

Гумилевском доме в Градницах

С корнями вырвав из родной земли,
Спася под краской от жучков и гнили,
Они его, конечно, сберегли.
Они его, конечно, сохранили.

Они его сгребли, перевезли
И в землю посадили в новом месте.
Но дом не приживается. Земли
Не знает он, и ей он не известен.

В нем все свежо и чисто. Под стеклом
Былых хозяев вещи и знакомых.
Но, словно неживой, скучает дом.
И дом уже не дом – могила дома.

Стихи и песни в нем звучат еще –
По-прежнему, а может быть, и чаще.
Но даже духи, плюнув за плечо,
От этих комнат держатся подальше.

Электричка

Электричка идет по кольцу в электрическом мраке,
Тормозит ненадолго у старых огромных зеркал.
Откусив чуть от света и теплой надышенной влаги,
Электричка стремится в тоннеля застывший оскал.

Электричка идет перекрученным жилистым горлом.
Пыль хрустит под колесами, словно песок на зубах.
Электричка набита несвежим прокуренным кормом,
И подземные ветры разносят промышленный прах.

И встают, и заходят прожекторов желтые луны,
Из-за стыков на рельсах прямая – как лестница вниз...
Электричка идет – и не знает, кто это придумал,
И не думает, есть ли в движенье какой-нибудь смысл.

И промчавшись по залам, отделанным мраморной плиткой,
Сотню раз – из начала в конец, от начала к концу –
Электричка вернется в депо и, свернувшись улиткой,
Будет спать до утра, чтобы завтра идти по кольцу.

Рыбы

В широтах дикой северной зимы,
На глубине пронзительных метелей
Холоднокровно обитаем мы –
По рыбе в каждом человеческом теле.

Кошунственно похожи на людей,
Мы и ведем себя по-человечьи:
Сперва, к примеру, делаем детей,
И лишь потом икру ночами мечем.

Не бьемся скрытой сущностью о лед,
И с головы не портимся почти что,
И деньгам – счет, а счету – свой черед:
Квартира, дача, платишко, пальтишко...

Собрав багаж, отправимся в вояж –
Солоники, Мальдивы там, Карибы.
И можно даже выбратъся на пляж –
Но рыбы и на пляже будут рыбы.

И мутно смотрят рыбии глаза
На воду, ограниченную посудой.
И рыбий дух алкает небеса,
И рыба кровь струится по сосудам.

Неправильные птицы

Есть люди-рыбы: если что – на дно.
Есть люди-свиньи: им в грязи б лишь рыться.
Другим пахать – уж так заведено.
А мы с тобой неправильные птицы.

У нас нет крыльев, перьев и хвоста,
А клюв держать советуют закрытым.
Но нас так сладко манит высота,
Что все несоответствия забыты.

Мы чересчур легки, чтоб не летать,
Пусть кости и не трубчатые в теле
И с притяженьем нам не совладать –
Неправильные птицы, что поделать.

У птичьих дел не видится концов:
И корм добыть, и гнездышко построить,
И высидеть, и выкормить птенцов,
Слетать на юг, с соседями повздорить...

Все это важно. Только вот беда:
Неправильности нашей потакая,
Мы можем иногда – и никогда –
Не подчиняться ритму жизни стаи.

Не добывать насущного червя
Проблематично, даже если черви,
Тебя сожрать бездумно норовя,
Перед едой порядком треплют нервы.

Но можно не вколачивать гвоздей
В гнездовый гроб семейственного счастья,
И можно не высиживать детей,
И можно не подсиживать начальство.

И можно, точно зная наперед,
Что ждет тебя, иначе тратить силы.
Падение – летательный исход.
А горизонт – всего лишь край могилы.

Странник

Что ты видел под этим невзрачным, безрадостным небом
Среднерусской своей полосы расписных неудач?..
Сколько видят глаза, все простором родным, орлогербым,
Расстелилась земля, и хоть вскачь по ней, милой, хоть в плач.

И никто до тебя будто думы такие не думал,
И никто до тебя будто песни такие не пел.
Из-под рваной полы толи дуля торчит, толи дуло –
Проходи стороной и иди, куда шел, пока цел.

Может быть, где-нибудь ненадолго пристанешь к порогу,
Но дорога зовет, а недолгого дома не жаль.
И ты снова идешь по своей необъятной дороге,
И лежит впереди голубая небесная даль.

Не выходи из Бродского

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку?
Зачем тебе свет, если есть красота плаката?
Зачем тебе жизнь, если ты не умеешь плакать?

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Пусть только стены видят твою улыбку.
Пусть только шкаф созерцает твою самодостаточность.
Придвинь его к двери, оттуда объекты реальности так и сочатся.

Не будь дураком! Не выходи из комнаты.
Брось пить, курить, жаловаться знакомым,
Брось, говорят тебе, пить! И есть, особенно сладости.
Брось выходить из комнаты даже по малой надобности.

На улице не Беловодье и, чай, не Китеж.
Не выходи из комнаты! Впрочем, и так не выйдешь:
Дверь заперта, и снаружи бушует космос.
Для русского мальчика там только проклятые вопросы.

Что может быть лучше мира двумерно-плоского?
Не совершай ошибки – не выходи из Бродского.
Отгородись словами от мира – они стен прочнее, каменной.
Твой лучший друг – в соседней палате... ну, или камере.

* * *

В закадровой тьме раздаётся мой первый крик.
Крупный план: руки матери, держащие ребенка.
Дальше вся моя жизнь, мой печально-смешной дневник,
Опрометчиво передоверенный киноплёнке.

Череда фотографий-стоп-кадров. Они о том,
Как я быстро расту и учусь с переменным успехом.
Вот я делаю первый шаг, вот с нелепо открытым ртом
Я куда-то бегу – может быть, заливаясь смехом...

Я хожу в школу, много гуляю, гоняю в футбол, болею порой.
Жизнь мне кажется сложной, но в общем забавной игрою.
Наступает пора осознать, что я в этом кино герой –
А потом ещё отстоять свою роль героя.

Я взрослею... Монтаж. Я влюблен... Монтаж. Я несчастен... Монтаж. И вновь
Я влюблен – и на этот раз нужен монтаж длиннее...
Потому что все это – учеба, друзья, увлечения и даже любовь –
Не приносят моей душе удовлетворенья.

Я как будто бы должен везде за собой пустоту бытия таскать,
Будто должен, оставив себя, с чем-то большим и важным слиться,
Будто что-то ищу – и никак не могу, и никак не могу отыскать,
И, забывшись, листаю тетради пустые страницы.

Хочется верить, что Бог для меня что-то важное прибережёт,
Но сейчас жизнь моя не стоит ни ломанного гроша, ни целого цента.
И я, сидя в баре, вливаю в себя неразведённый тяжёлый рок,
Я заливаюсь музыкой, как другие водкой или абсентом.

Изо всех сил вдыхаю прокуренный воздух, но будто бы не дышу,
И по капле сердце мое оставляет предательница-надежда.
И тогда я беру карандаш и бумагу и что-то на ней пишу –
И мой мир изменяется, чтобы не стать уже больше таким, как прежде.

Я как будто бы перерождаюсь, я вижу все ярче, свежей, ясней
(Здесь нужно будет использовать киноэффекты).
И мне хочется жить, и мне кажется, что никогда я не жил полней,
Никогда так мой дух не трепетал от порывов ветра...

Я пишу, и сквозь строки мне представляется мир иной,
Непривычный покой до краёв наполняет душу.
Этот мир каждый день, каждый миг говорил со мной –
Просто раньше, увы, я не слышал его... Не слушал.

Теперь у меня без строки не проходит дня,
И страшно признаться – я счастлив... Мне нравится жизнь такая.
Вот только слова загнивают где-то внутри меня,
Если я их наружу не выпускаю.

Сорок три тысячи печатных знаков, семьсот стихотворных строк –

Для меня это дело одной лишь бессонной ночи.
Я выхожу из дома... Из рта поднимается белоснежный парок –
Надо же, я согреваю небо дыханием, Отче...

А дальше все просто: издательства, тиражи,
Всемирная слава, лучших умов признание...
И нет больше пустоты – там, внутри души.
Наверное, это и есть – отыскать призвание.

Я много летаю по миру, езжу по странам и городам,
Предпочитаю отели к берегу моря поближе.
И я знаю, что эту судьбу свою я никому ни за что не отдам.
Крупный план: океан мои ноги лениво лижет...

Иногда вспоминаются лица друзей былых –
С эхом нежности, мною испытанной к ним когда-то.
И я счастлив, что где-то в прошлом я встретил их,
И немного себя я чувствую виноватым.

Потому что иным идеалам ушел служить,
Потому что пошел дорогой своих ошибок,
Потому что я променял на возможность жить
Полной жизнью их доброту и тепло улыбок.

Я живу, никого глубоко и искренне не любя.
Крупный план: разбегается сетка морщин по коже.
Да, словами я создал стену вокруг себя –
Но за этой стеной мир стал ближе мне и дороже.

Я не знаю, сумел бы я что-нибудь изменить,
Если б я захотел, но ведь я не хочу... Бог, наверное, очень хитрый.
Я возвращаюсь на пару дней, чтобы кого-то похоронить, –
А потом ухожу под лирический эндинг. Титры...

* * *

Немного солнца в моей ладони,
Немного смерти в моих глазах.
Ты знаешь, я вовсе не Марк Антоний,
И Рим давно обратился в прах.

Тот Рим, который, гневливый, гордый,
Готов был рухнуть к твоим ногам.
Тот Рим растоптали народов орды,
Остались руины и ветхий хлам.

Европа надолго во мгле увязла.
В бессмертье отказано нам двоим.
Но ты! Красота твоя не угасла –
И Рим отстроен, чтоб стать твоим.

* * *

Я существую в штатном режиме.
Никаких отклонений, в норме все показатели.
Биологическая машина.
Душа допустима, но не обязательна.

Я эффективна. Ничего личного.
Ничего лишнего не интересно.
Я работаю без выходных и больничных.
Я отключусь в день ухода на пенсию.

Я не капризничаю и не ломаюсь.
Не оставляю следов на черном, не пачкаю белое.
Я не влюбляюсь, не обижаюсь, не сомневаюсь –
Я всегда знаю, что делаю.

Когда-то в детстве я читала про стальную крысу –
Вариант существования в металлическом мире весьма удобного.
Я такая же. А то, что пишу стихи, – так это выброс
Остатков отработанного эмоционального топлива.

Баллада о камне

Влекомая в метро людским потоком,
С грохочущей Москвой над головой,
Узнав меня, окликнешь ненароком.
Я обернусь – и взгляд поймаю твой...

Моя душа – замшелый старый камень.
Снимаю плющ, соскабливаю мох –
Читаю, кем и сколько ты была мне,
И тяжело дается каждый вдох.

Я не люблю припоминать былое –
Приятней, веселей смотреть вперед.
Увы, не все становится золою,
Чему сгореть давно пришел черед.

В подземном электрическом сиропе
Колеблешься, как сказочный цветок...
Моя душа – печальное надгробье,
Изрезанное тысячами строк.

Места и даты, люди и события,
Стремления, желания, мечты,
Удачи, поражения, открытья –
И ты. Среди всего иного – ты.

И ты!.. Не оттесненная другими
На задний план давно минувших лет.
И вот уже горит на камне имя –
Резца судьбы глубокий четкий след.

И ты – мне улыбаешься беспечно,
Как прежде, и вот-вот махнешь рукой.
Но время не щадит, хотя и лечит,
И всем больным прописан им покой.

Я не здоров, но мне уже не больно.
Я глажу надпись – каждый штрих знаком –
И чувствую, что этого довольно,
И камень свой укутываю мхом.

И пусть друг друга мы давно простили,
Ты взгляд мой взглядом тщетно не лови.
Моя душа – надгробье на могиле
Не мертвой, но потерянной любви.

И пусть другие ищут виноватых.
Для тех, кто прячет от людей глаза,
Глотающий ступени эскалатор
Надежнее дороги в небеса.

Скелет

Внутри меня живет скелет.
Его я знаю много лет.
Он в комбинезон из мышц одет
И упакован в кожу.
И ночью, и при свете дня
Он, верность твердо мне храня,
Всегда поддерживал меня –
И смерти корчил рожи.

Всю жизнь, во сне и наяву,
Я с этим ужасом живу.
Такие же стоят в шкафу –
Увы, никто не вечен.
Он мысли сводит к одному:
Все будет ввергнуто во тьму...
Но эти мысли ни к чему –
Есть пострашнее вещи.

Признать давно уже пора:
Внутри меня живет дыра –
Как весь подлунный мир, стара,
Безжалостна, как солнце.
Что ей ни дай, все поглотит.
Позволь ей – мир в себя вместит,
Имея страшный аппетит.
Она душой зовется.

Кипит, как варево в котле,
В ней все. И если мир во мгле
Исчезнет с жизнью на земле,
Господь, скажи лишь Слово
В своей заоблачной тиши –
И все от истины до лжи
Вернется из моей души –
И воплотиться снова.

Паршивый пес

Дверь приоткрылась, и в щель, куда, наверное, не пролетела бы и бабочка, юркнул Володька. С усилием упершись ладонью в теплое, пахнущее домом дерево, он прижал дверь к косякам. Петли негромко пискнули. Володька не успел решить, хорошо это или плохо: бабушка, стоявшая у плиты спиной к нему, все равно не обернулась. Толи не слышала, толи... сердилась.

Конечно, сердилась. Глупо было надеяться на то, что это не так.

Володька пробрался вдоль стены и сел на лавку. Несколько минут он сидел молча, лишь изредка, тихонько, как бы невзначай всхлипывая да растирая по лодыжке струйку крови, сочившуюся из разбитой коленки. Бабушка тем временем – большая, теплая, домашняя бабушка – возилась у разделочного стола. Время от времени она неопасно пошатывалась – подавалась к плите, на которой бурлили и булькали кастрюли. Запах говяжьего бульона в доме стоял одуряющий: казалось, голодный желудок вот-вот вывернется наизнанку и высунется наружу – пусть не поест, но хотя бы впитать ароматы. А то, что находилось ниже желудка и не имело даже теоретической возможности вывернуться, ныло и возмущалось. Наконец Володька осторожно позвал:

- Баб... А баб...

Бабушка не оборачивалась. Ее большая широкая спина – а спиной ведь иногда можно выразить не меньше чем лицом, – красноречиво говорила, что ничего не будет. Ни прощения, ни обеда.

- Ну бабушка... - захныкал Володька.

- Что тебе бабушка? Что? – бабушка всплеснула руками.

Движения ее были резкими, порывистыми. Они отражали недоброе настроение пожилой женщины. Володька старался не приставать к бабушке, когда она двигалась так, даже если не он был причиной расстройств. И только в исключительных случаях...

- Баб, дай зеленки... пожалуйста...

Бабушка бросила короткий взгляд через плечо. Для себя она уже оценила разбитую коленку и решила, что в воспитательных целях с зеленкой можно повременить.

- Не будет тебе никакой зеленки, - заявила она. – Ишь, еще чего – зеленку на тебя переводить! Тебе все одно: что мажь, что не мажь, через день расквасишь опять. Не коленку, так нос, не нос, так локоть.

- Ну баба... дай, а...

Бабушка повернулась наконец ко внуку и уперлась кулаками в бока.

- Сказано: не будет тебе зеленки! Пускай там у тебя зараза начнется, нога загниет и отвалится! Не будешь где попало целыми днями носиться!

Сказав это, бабушка снова отвернулась и принялась убирать со стола. Звякала и звенькала посуда, в пару, валившем из-под крышки кастрюли, болталась очумевшая от запаха муха.

Успокоившийся было Володька снова всхлипнул. Потом еще. И еще. Ему очень не хотелось терять свою ногу, ведь это была его личная, собственная и очень нужная нога. Но бабушка зеленки не давала, а зараза, наверное, уже попала в ранку, пустила там свои гадкие белые корни, и, если сейчас, вот прямо сейчас ничего не предпринять, все случится, как сказала бабушка, – нога отвалится! От этих мыслей Володьке стало так страшно, что коленка заболела сильнее. И все же он твердо решил, что сделает все возможное...

Внук притих, и это насторожило бабушку. Она обернулась и ахнула:

- Что ж ты такое делаешь! Ах ты, Господи! Прекрати, прекрати сейчас же!

Володька поднял на бабушку свои большие, полные слез голубые глаза, потом опустил голову и снова принялся вылизывать разбитую коленку.

- Прекрати! Прекрати, кому говорят! – в голосе бабушки слышались сердитые и жалостливые нотки одновременно. Она подскочила к внуку, схватила его за руку, сдернула с лавки, усадила на стул.

- Сиди! Сиди, кому говорят! И чего тебя черти носят, где попало... Достался же ты мне на старости лет, как с цепи спущенный, прости, Господи...

Несвязно причитая, бабушка слазила в аптечную полку, приготовила похожий на ягодный компот раствор марганцовки, взяла бинт, потом передумала, положила бинт на место и оторвала лоскут от столовой тряпицы.

- За что ж меня так боженька наказал-то? Горбаться целыми днями, ни помощи тебе, ни спасибо, да еще и тебя, убогого, на меня повесили, когда ж это кончится...

Приговаривая, бабушка промывала разбитую Володькину коленку и роняла в миску с марганцовкой крупные тяжелые слезы. Володька смотрел на бабушку, на розоватый пробор в седых волосах, на крупные, разбитые работой руки, на которых помимо положенных линий время нарисовало еще десятки – покороче и подлиннее – и силился понять, отчего же бабушка плачет.

Плакать было отчего: Володькина мама, бабушкина дочка, осталась с Володькой одна. Муж ее бросил, выгнав из жилья, за метры которого и алименты мать судилась с не бывшим еще, но уже и не родным мужем третий год. Одновременно с этим она пыталась хоть как-то устроить и личную жизнь. Володьку же пока, на летние каникулы перед вторым классом, отослали к бабушке в деревню, откуда восемь лет назад в университет и почти сразу же замуж уехала его мать.

Володьке в деревне нравилось. Можно было целыми днями носиться по улице, лазить по деревьям, купаться и бродить в лесу. Дома он почти не появлялся, разве что ночевать приходил да перекусить – иногда. Это-то и заставляло бабушку переживать. Она любила внука и, стоило Володьке исчезнуть с ее глаз, начинала беспокоиться за него. А вдруг упадет откуда, подерется с кем, взлезет в чужой огород, заблудится в лесу, собаки покусают, машина собьет на шоссе, как дурного пса... Случиться могло все, что угодно. Володька был не хулиганистым, но чрезвычайно любопытным мальчишкой. А любопытство часто приравнивается к хулиганству, особенно напереживавшимися за свою жизнь бабушками с большим, тревожным и любящим сердцем.

- Ну, где ты на этот раз коленку убил?

- О коряжку споткнулся.

Бабушка выплеснула остатки марганцового раствора. Пока розовая вода с громовым грохотом стекала в пустое ведро под раковиной, бабушка щедро налила в металлическую миску супа.

- О коряжку он споткнулся... Ешь давай.

Второй раз предлагать не пришлось. Володька придвинул к себе миску и бодро замолотил ложкой. Примирение было достигнуто.

А вечером того же дня бабушка, уже смеясь, рассказывала зашедшей на огонек соседке Антонине Ивановне, как Володька зализывал раны. Соседка хохотала, прихлебывая чай. Посмеивалась и Оля, беленькая конопатая девчушка лет десяти, соседкина внучка. Бабушка уже без горечи, только для проформы жаловалась на Володьку:

- Бестолковый он у меня, Тонь. Надоумишь его – сделает, не скажешь – сам никогда не догадается. А не доглядишь за ним – ищи-свищи! Что пес бродячий, прости, Господи.

- А помнишь, Наталья, у вас кобель был...

- Во-во! – подхватила бабушка. – Такой же бестолковый...

- Я не бестолковый! – выкрикнул сидевший на лавке Володька. За окнами моросило, и это была единственная причина, по которой он находился дома.

Старушки оглянулись. Баба Тоня улыбнулась, сощутив почти ничего не видевшие глаза.

- Я... толковый! – гордо заявил Володька. И тут же спросил: - А что за кобель?

- Да тебя тогда еще и в проекте не было, - отмахнулась бабушка. – Дед твой Семен, царствие ему небесное, живой еще был. Он этого пса беспутного и повесил, когда мамка твоя родилась.

- А что пес ему сделал?

- Да ничего! – громко сказала бабушка.

Володька вжался в стенку, чувствуя, что бабушка опять сердится. Только непонятно было из-за чего. Володька не хотел сердить или расстраивать бабушку и поэтому молчал. А бабушка, тяжело переведя дыхание, неохотно заговорила:

- Толку от этого пса не было никакого. Даром что здоровый, как теленок, - дурак дураком. Пока на цепи сидит, вроде лает, да что толку от одного собачьего бреха? Ластился ко всем – что свои, что чужие, все одно. А спусти его с цепи, так ускачет и вернется через месяц. Тощий, паршивый. Отожрется – и опять за свое. А главное, детей любил. Увидит – ластится, лизаться лезет. А сам-то размером с жеребенка! Дети в крик, а ему все игрушки. Он же и прикусить мог – несильно, но много ребенку надо? Вот бабы к моему Семену и пристали: сделай что-нибудь с собакой. Дед пробовал его на цепи держать, да какая цепь этакого зверя удержит? Особо если сука какая охочая в соседней деревне, прости Господи... Вот и отвел он его к лесу, повесил на дубе, да там и закопал. Да что теперь говорить... Зря животину сгубили, конечно.

- Значит, жалко было?

- А как же не жалко? Жалко, еще как. Только вся деревня была недовольна, за глаза врагами народа называли, фашистами.

- Наталь, а ты к Семену-то на могилку ходила? – спросила баба Тоня. – Не глянула, как там мой лежит?..

Старушки говорили о чем-то еще. Но Володька уже не вслушивался в их разговор. Он сидел, ошеломленный услышанной историей. Если бы его спросили, что именно так поразило его, он не смог бы ответить. Это бы и страх, и горечь, и облегчение, и любопытство, и непонимание одновременно. Мальчишку охватило ощущение, будто бы он вспомнил что-то такое, что никак не мог знать.

Олька заметила, что с Володькой творится что-то неладное, наклонилась к его уху и шепотом спросила:

- Хочешь, сходим туда завтра? Я знаю, я покажу...

Олька не сказала, куда это - «туда». Но Володька понял, кивнул. На следующий день они вместе пошли искать безымянную могилу повешенного пса.

День был теплый, но пасмурный. С утра снова шел дождь, трава была в крупном бисере капель, из чашечки бараньего ушка можно было выпить целый глоток небесной воды. И хотя дождь закончился, ветер не поднялся, и низкие сизые облака покачивались над летней, темно-зеленой землей в белых, желтый и алых цветах.

Володька и Ольга шлепали по дороге. К сандалиям липла мокрая пыль, и следы, двумя цепочками остававшиеся позади них, были сухими.

- А ты откуда про собаку знаешь? – просил Володька.

- а меня ей бабка все детство пугала, - заявила Оля. – Говорила, если я буду плохо себя вести, за мной придет мертвый пес с края леса. Бабушка его не прогорит, и он заберет меня к себе. А когда я начинала плакать и просила прощения, бабка говорила, что прогонит пса. Я ей верила. Только мне все равно было страшно.

- А теперь не страшно?

Оля удивленно посмотрела на Володьку.

- Нет, конечно. Я же уже взрослая.

- Понятно...

Дорога уходила влево, а правее начинался луг, за которым клубилось темно-зеленое облако леса.

- Нам сюда, - Оля ступила на тропинку, ведущую через луг. – А тебе не страшно?

- Мне страшно, что меня точно так же повесят, - честно признался Володька.

На краю леса росли дубы. Невысокие, коренастые, они стояли далеко друг от друга, и между ними поднимались крохотные, в две-три веточки, молодые деревца. Их стволы были похожи на струны, невидимой силой натянутые в воздухе.

Дети побродили по краю луга, потоптались около одного дуба, обошли другой, заглянули в дупло третьего. Конечно, никаких следов могилы пса не нашлось: она давно сравнялась с землей.

- Ну чего, пошли назад? – спросила Оля. – У меня сандалии намокли.

- Ты иди... - ответил Володька.

- А ты?

- А я тебя догоню... Попозже, ладно?

- Ладно, - Оля пожала плечами и зашлепала через луг.

Володька проводил ее взглядом, дождался, когда пестренькое платьице скроется за поворотом дороги. Потом он запрокинул голову, заглядывая дубу под крону. Дерево протягивало вверх и в стороны могучие узловатые ветви, листва не двигалась, темнея плотным куполом.

Обойдя дуб, который они даже вдвоем с Олей не смогли бы обхватить, Володька направился к лесу. Влажные запахи земли, травы, живой мшистой древесины стали острее, слышался тонкий, как волос, ветерок. Володька скинул промокшие сандалии, ступил босиком на упругую, напитавшуюся дождем землю. Обогнув затаившуюся в траве колючку – капли воды висели над листьями, приподнятые седыми волосками – Володька пошел быстрее. А потом он и вовсе побежал, легко перепрыгивая лесные овражки, лежащие на земле ветви и стволы поваленных деревьев. И быстрые, похожие на собачьи лапы оставляли во мху аккуратные округлые следы.

Подмена

- Ты здесь? – крикнул он во мрак за порогом.

Ответа не последовало. Он еще какое-то время постоял у порога, выпуская из дома навязчивое душноватое тепло, выпуская с улицы крепкий, морозный холод. Никто так и не появился. Притерпевшиеся к темноте глаза видели долгую, оледеневшую поселковую улицу, фонарь над перекрестком, вертикальные черточки изгородей, горизонтальные ровные тени от них. Никого там не было. Никого живого.

- Кто там пришел? – раздался голос с кухни.

Это была жена: теплая, домашняя, удивительно приземленная женщина. Звали ее Катерина: тут и тесто, и картошка, и вся теплая надежность ее женской пятерни.

- Петь, а кто должен придти-то? – спросила она, когда муж вошел в кухню, где даже свет был теплым.

- Знать бы еще, кто, - странно ответил он.

Жена Толька вздохнула, покачала головой: муж был с причудами... Зато не гулящий, да и курить уж пять лет как бросил – экономия. Правда, выпить любил – вот и сейчас зыркал на холодильник, помня о стоящей там початой бутылке беленькой. Но ведь не буянил же по пьяной лавочке, не дрался ни с кем, не обижал никого – даже ее, жену. Наоборот, в любви признавался, а если летом дело было, то и цветами осыпал – надранными с чужих огородов. Ну и ничего, кто без греха-то...

Выпить ему хотелось. Водка в такие минуты почти не пьянила, да и что ему водка? Петр работал хирургом в районной больнице. Этим многое объяснялось, в том числе и устойчивость к водке (спирта в больнице было – залейся), и отвращение к блюду. «Блудных» привозили через два дня на третий, кого с пробитой головой, кого с ножом в груди. Он даже топор один раз вытаскивал – домашний, правда, небольшой, для кухонных работ, а не для колки дров. Но тоже впечатлился. А его коллега Семен Морозов как-то арматуру у одного такого вытаскивал. Понятно, откуда. Законный супруг засунул, значит...

Петр сделал над собой усилие – чего пить, все равно сейчас без толку, а может, от этого оно и приходит – и перевел взгляд с холодильника на дверь.

- Ты ждешь кого что ль, не понимаю? – спросила Катерина. Обычно она, замечая за мужем «причуду», старалась его отвлечь. Но когда сама она, как сегодня, была уставшая за день, «причуды» ее раздражали. – Шел бы ты спать. Время-то позднее.

Петр посидел еще немного, словно собираясь с силами, потом закивал, поднялся.

- Я пойду у брата лягу, - сказал он. – Что-то мне...

Не договорив, он махнул рукой и вышел из кухни. Брат Петра Володька, как и он сам, родился и вырос в этом доме. И хотя Володьки не было в живых уже шесть лет, комната по-прежнему называлась «братовой». Петр оставался там на ночь, когда не спалось.

- Иди, иди, болезный, - сказала себе под нос Катерина, когда муж уже ушел. Работы предстояло еще много, а ночь была недлинной...

Петр вошел в комнату к брату. Он любил здесь оставаться на ночь – в такие ночи. Серкет был в том, что эта комната была единственной во всем доме, имеющей собственную дверь. Остальные либо задергивались занавеской, либо вообще никак не прикрывались. А еще в этой комнате было обычно немного прохладней, чем во всем доме. Возможно, потому что она была угловой.

В комнате стояла кровать, тумбочка, старый приемник с каким-то хламом на крышке. На обеих стенах висели книжные полки, и книги сов сего дома были собраны именно

здесь. Впрочем, были их немного. В основном это были справочники по медицине, кое-что из старых учебников и художественной литературы, которая распространялась еще по подписке. На левой стене, около кровати, висел пыльный трогательный коврик с изображением трех богатырей. Место на полу занимали пахучие слежавшиеся подшивки газет – брат Петра был журналистом, много ездил по району, писал, печатался. Кое-какие его материалы выходили даже в центральных изданиях. Здесь подшитыми хранились только местные газеты. Вырезки из центральных вырезала когда-то и до сих пор хранила в отдельной папке мать, благоговевшая перед печатными органами еще по-советски.

Петр присел на кровать, просунул руку в щель между тумбочкой и батареей. Пошарив пальцами, он ухватил за горлышко заначку - выудил из щели початую бутылку. Отвинтил крышку, приложился – краем глаза заметил в конце чью-то фигуру – поперхнулся, закашлялся. Завернул крышку, вытер губы рукавом. Посмотрел в окно... Никого. Темнота. Показалось.

Вернув бутылку на место, Петр сложил руки на коленях. Потом уронил лицо в ладони, помассировал лоб. Закурить бы сейчас, ад во всем доме ни грамма табаку – бросил же. Да и будет, как с водкой – ни вкуса, ни толка. Если бутылку целиком или две, то да. Но завтра на смену. Мало ли кого с чем где привезут.

Петр качнулся – взгляд снова скользнул по кону, пустому и темному, как будущее, – и, не раздеваясь, лег в постель. Лучшее, что можно было сделать в такую ночь, – уснуть. Ну или не спать, быть начеку, но всякий раз, когда оно подкрадывалось, шелестело, звало, держать себя в руках. Слышать, но не слушать его зов и не ходить на него. Хотя, он же ни разу не подошел к нему достаточно близко для того, чтобы рассмотреть, что это такое. Оно не позволяло...

Когда это пришло к нему первый раз, он счел, что у него галлюцинации. Допился до чертиков, благо с его профессией это недолго. Здравствуй, белочка – как на бутылке водки какой-то марки: поворачиваешь ее и на этикетке появляется голографическая белка с ошалевшей мордой и надпись «Я пришла!»... Но вскоре Петр заметил, что на него находит и в трезвом состоянии. Причем когда трезвый – страшнее.

Это начиналось с чувства тревоги, спрятаться и бежать куда-нибудь одновременно. Это чувство можно было заглушить людьми, но приходило оно чаще ночью, когда обычно нет возможности нырнуть с головой в какую-нибудь шумную компанию. А потом возникало ощущение присутствия, но не прямо здесь, рядом, а где-то поблизости. За изгородью, в саду, под окном. Оно приближалось настолько, насколько, видимо, могло, а потом лишь подзывало, подманивало к себе. Чаще это происходило ночью – но иногда случалось и днем. Петр мог сидеть у себя в кабинете, один, за столом, спиной к окну, до или после обеда, и вдруг как будто бы наступала ночь. Петр явственно ощущал, что за окном глубокая ночь, и в парке, разбитом перед больницей, среди оголенных деревьев стоит это и ждет его. Он не вставал со своего места, никуда не уходил, даже не оборачивался, чтобы взглянуть в окно и увидеть там день. Одна его рука сама тянулась к выключателю настольной лампы, а другая – к нижнему ящику стола... Таким его однажды застала медсестра: сидящем при включенной старенькой, ужасно греющейся настольной лампе, со стаканом спирта в руке... С душой, выпитой до дна чем-то неведомым.

Что это, Петр не знал и даже не предполагал. В больнице мистика была чем-то обыденным – но это была нормальная, объяснимая, порой даже обязательная мистика. Вроде больного, который во время трехдневной комы, пока врачи договаривались о переведении его в специализированную клинику в региональной столице, парил над своим телом, бродил по коридорам больницы и помимо всего прочего наблюдал за утками анестезиолога Калашникова и его глубоко любимой, уже третьей за этот год гражданской жены медсестры Котюк (которая, между прочим, числилась обычной, негражданской, а личной женой Павла Котюка, водителя-рейсовика из соседней деревни). Всякие привороты, порчи, проклятия тоже были обычным делом. Обычным деревенским

делом. Верилось в это серединка на половинку: вроде есть, а вроде и нет, чего люди только не говорят, послушать иногда любопытно. Но, если вдуматься, всему можно найти объяснение.

А вот то, что приходило за Петром... Не было ему никакого объяснения. Более того: образа у него тоже не было никакого, было оно безобразным, безликим, никаким. Не было это никакое ничем, даже смертью. Смерть Петр хорошо знал, сталкивался едва ли не каждый день и был с ней, что называется, на короткой ноге – ее короткой костяной ногой, которой не препятствие любое расстояние. Сам Петр в молодости дурил, был готов умереть. Потом остепенился, передумал, потом снова – когда нашли рак легких. Но вроде выбрался, захотел жить, тем более дети маленькие оставались да жена. Но потом снова потянула в могилу – от тоски, когда брата, разбившегося аж на вертолете, схоронил. Но отлегло и это – и опять захотелось жить... То, что преследовало Петра, не подталкивало его к смерти или мыслям о смерти, но и не наращивало в нем желание жить. Оно просто было само по себе – присутствовало, существовало – и их с Петром сосуществование в одном мире, казалось, было невозможным...

Когда время перевалило за полночь и зов, слышный ему одному, стал оглушительным, он наконец решился. Не задумываясь о том, что потревожит домашних, он быстрыми размашистыми шагами вышел в коридор, распахнул входную дверь, готовый встретиться лицом к лицу с чем угодно – лишь бы все это прекратилось. Но за дверью никого не было. Ночь была тиха, улица пустынна. Зов оборвался и не возобновлялся более. С кухни позвала жена, и он вернулся в дом. И хотя ничего не произошло, холодный пот прошиб его. Вроде бы вернулся... Или все-таки не вернулся?..

Или не он?..

...Он понял, что замечтался. Свой дом, такой теплый и манящий, с женой, детьми, стенами и дверями, за которыми можно прятаться от чего угодно, был для него отныне недосыгаем. Он прошелся вдоль внешней стороны стены, заглянул в окно – мимолетно, чтобы остаться незамеченным и все же успеть в последний раз взглянуть на картину столь милого сердцу уюта. А потом он вышел из палисадника, не потревожив скрипучей калитки, и отправился своей – то есть, отныне своей – дорогой. Но он не остановился и даже не обернулся, хотя услышал чей-то голос за спиной.

- Ты здесь? – окликнул его кто-то во мраке за порогом.

Четвертый дар

В одной горной деревушке умирал древний старик. Чувствуя, что время его на исходе, он позвал к себе четырех своих сыновей и заговорил так: «Дети мои! Долгую жизнь я прожил. Я многое повидал, многое пережил и умираю, ни о чем не жалея. Но было в моей жизни кое-что такое, о чем я должен поведать вам, прежде чем отправлюсь в иной мир.

Когда я был так же молод, как самый молодой из вас, я гонял стада через перевал. По дороге мне приходилось переправляться через горную реку, а горные реки коварны. Они мелкие, до дна можно дотронуться рукой, едва замочив рукав, видно каждую чешуйку на теле проворной рыбки. Но течение в этих реках такое сильное, что сдвигает с места, сбивает с ног, а вода в них – ледяная. И вот, когда я жарким днем со своим стадом подошел к реке, лежащей у меня на пути, на берегу я увидел прекрасную девушку. Волосы ее были как смоль, кожа – как снег на вершинах гор, а лицо – как полная луна над горами. Стан ее был тонкий, как горловина кувшина, а бедра широки, как его вместилище. Я догадался, что девушке нужно перебраться через реку, и заговорил с ней. Моя догадка подтвердилась.

- Мне нужно перейти реку, - сказала девушка. – Посади меня на спину одного из своих баранов, и так я переправлюсь.

- Зачем тебе садиться на спину барана? – спросил ее я. – Камни на дне гладкие, неразумное животное может поскользнуться или оступиться. Разреши, я возьму тебя на руки и сам перенесу через реку. Обещаю, я буду осторожен.

Девушка немного подумала и согласилась. Тогда я взял ее на руки и с удивлением обнаружил, что девушка гораздо тяжелее, чем мне казалось. Она была словно сделана из камня. Тем не менее, я поднял ее и осторожно перенес через реку. В шаге от другого берега я все же поскользнулся, но устоял на ногах, только край платья девушки немного вымок.

Когда мы оказались на другом берегу, девушка поблагодарила меня и сказала, что она не простая поселянка, а горная богиня Тефелис, и что она хотела бы отблагодарить меня за услугу. Я же сперва опешил, но быстро пришел в себя и сообразил, что много потеряю или вовсе попаду впросак, если прямо сейчас выскажу какое-нибудь необдуманное желание. Ведь богини – женщины, а женщины коварнее горных рек. И тогда я сказал богине:

- Самому мне ничего не нужно. У меня есть все. Правда, детей у меня пока нет. Но однажды они появятся, и если богиня желает отблагодарить меня, то я хотел бы передать ее благодарность моим детям.

Богиня рассмеялась.

- Что ж, если твои дети будут достойны моих даров, я согласна. Твои дети могут придти ко мне, когда ты сочтешь нужным.

Сказав это, она объяснила мне, как добраться до ее потаенной пещеры. Может быть, я слишком долго хранил от вас, дети мои, эту тайну. Но теперь вы все знаете. Я люблю вас и хочу, чтобы вы были счастливы. Я завещаю вам отыскать ту самую потаенную пещеру, и пусть горная богиня выполнит ваши самые заветные желания – такие желания, которые ни я, ни вы сами, ни любой другой смертный выполнить не могут».

Старик прервался, попросил воды, а затем объяснил сыновьям, как добраться до потаенной пещеры.

- Всю жизнь я думал, что бы наказать вас попросить у богини, - сказал старик напоследок, - но так ничего и не решил. Так что пусть каждый из вас выберет то, что

считает наиболее важным. Но упускать такую возможность не следует – она дается далеко не каждому и только раз в жизни.

Сказав эти слова, старик надолго замолчал, а через несколько часов, простившись со всеми родными, умер. И только стихли печальные песни, опустели траурные столы и жизнь пошла своим чередом, как самый старший сын засобирился в гости к горной богине.

Покинув родное село, он долго был в пути. Он пробирался через заросли кустарников, переходил горные реки, поднимался на скалы и спускался в ущелья, ночевал под открытым небом и шагал под палящим солнцем. Наконец он достиг потаенной пещеры и вошел внутрь.

Пещера была узкая, низкая и сырая. Она уходила вглубь скалы и оканчивалась, казалось, тупиком. Но только дневной свет перестал достигать ее стен, как скала раздалась и открылась большой каменный зал. Потолок его был округлый, и цельный зеленый камень, из которого он, как крышка шкатулки, был вырезан, светился неярким, рассеянным светом. Стены пещеры были из алого и сиреневого камня, в котором, словно живые змейки, виднелись черные и изумрудные прожилки. Пол пещеры был темно-красным с коричневыми пятнышками и крапинками. Из пещеры вело несколько коридоров, они темнели провалами, уходящими еще глубже, в самое сердце горы. А посередине пещеры на троне из цельного камня сидела сама богиня. Она и в самом деле была очень красивой, только в лице ее были что-то холодное, каменное.

- Здравствуй! – сказала она гостю. – Я давно ждала тебя. Вот мои дары - выбирай!

Богиня повела рукой, и прямо перед ней появился столик, а на нем – золотое яблоко, золотая змейка и золотой мешочек.

- Если ты откусишь от этого яблока, - сказала богиня, - ты вернешь себе молодость и силу. Если ты выберешь змейку, обретешь мудрость. Выберешь мешочек – станешь очень богатым.

Старший сын глубоко вздохнул: выбор был не простым. Нужно сказать, что сам он уже был далеко не молод: у него была своя семья, жена, дети, даже двое внуков, и жили они отдельным крепким хозяйством. Старший сын старика считал себя человеком не глупым, умудренным жизненным опытом, и, как неглупый человек, он решил, что нет ничего лучше, чем снова стать молодым. Чтобы вернулась в тело былая сила, чтобы ничего не болело, не ныло, не клонило к земле, чтобы старость опять казалась далекой и нестрашной, чтобы опять – горы по плечо, моря по колено! Так старший сын решил прожить жизнь еще раз и выбрал яблоко.

- Хорошо, - сказала богиня. – Бери свое яблоко и ступай. А брату своему передай, что я жду его через год.

Старший сын попрощался с богиней и вышел из зала. Но не успел он выбраться из пещеры, как обглодал волшебное яблоко до самых косточек, которые оказались крохотными камушками. И почувствовал он, как сила и мощь возвращаются в его тело, как молодость выпрямляет спину, расправляет плечи, поднимает голову. Идти домой было так легко, так весело, что дорога, казалось, сама ложилась под ноги, а встань на пути гора – он свернул бы и гору.

Быстро старший сын вернулся в родное село. Но приняли его неласково. В его собственном доме его никто не узнал. Внуки плакали и не хотели идти на руки, старший сын чуть не поколотил его, а любимая жена, теперь показавшаяся дряхлой старухой, залилась слезами и убежала. Только братья, которые знали, в чем дело, поверили его рассказу. Но больше никто не узнал его, и стал он жить в родном селе, словно чужак, пришлый. Никто с ним первым не заговаривал, не звал в дом. Пожил он так несколько месяцев, а потом сказал братьям:

- Прощайте. Не сделал меня счастливым дар горной богини. Я уйду искать лучшей доли, - и ушел из села, и больше его в этих краях никто никогда не видел.

Подошел срок второму сыну идти испытывать свою судьбу. Помня слова отца и старшего брата, добрался он до потаенной пещеры, отыскал лукавую горную богиню, поклонился ей.

И снова богиня повела рукой, и прямо перед ней появился столик, а на нем – золотое яблоко, золотая змейка и золотой мешочек.

- Если ты откусишь от этого яблока, - сказала богиня, - ты вернешь себе молодость и силу. Если ты выберешь змейку, обретешь мудрость. Выберешь мешочек – станешь очень богатым.

Второй сын был крепким зрелым мужчиной. Он давно хотел обзавестись своей семьей, но все наследство отца по праву досталось старшему сыну и его семье, и за него, второго сына, почти нищего, идти замуж никто не хотел. По этой причине, а еще не желая повторять ошибку своего брата, второй сын выбрал золотой мешочек.

- Хорошо, - сказала богиня. – Бери свой мешочек и ступай. А брату своему передай, что я жду его через год.

Второй сын попросился с богиней и вышел из зала. Не успел он выбраться из пещеры, как золотой мешочек распух и отяжелел. Радостно поспешил второй сын домой: золото в карманах сделало его шаги уверенными, голова его высоко вздернулась. Возвращаясь в родное село, он думал о том, что любая девушка теперь с радостью пойдет за него замуж, а матери еще ругаться будут, споря, чья дочь лучше, какую он выберет.

Но не донес второй сын до дома своего богатства: поджидали такого вот путника в овраге у большой дороги разбойники. Они отняли у второго сына золотой мешочек, а его самого еще и поколотили. Так что вернулся он домой ни с чем. Долго горевал он о потерянном богатстве, а потом подумал-подумал и решил, что легко отделался.

Прошел еще год, и третий сын старика отправился к коварной богине. Не очень-то ему хотелось идти – мало ли как судьба повернется? Но ведь правильно отец говорил: не каждому такая возможность дается, да и то всего один раз. Богиня же может сделать то, что не под силу ни одному смертному, а это стоит того, чтобы попытать удачи.

- Ну, что ты выбрал? – спросила богиня, когда третий сын предстал перед ней.

Тот думал долго. Он был достаточно молод, чтобы не желать молодости. Он был уверен в своих силах и не сомневался в том, что сможет хорошо работать, и обзаведется в дальнейшем и собственным хозяйством, и семьей. Помня об оштрафовках своих страшных братьев, он выбрал мудрость. Протянул он руку к золотой змейке, а та развернулась и - цап! – укусила его за руку. А потом взвилась по руке богини и спряталась в тяжелых складках ее платья.

- Теперь ты обладаешь мудростью всего человечества, - сказала богиня. – Ступай и скажи своему брату, что я жду его через год.

Третий сын поклонился богине и направился к выходу из пещеры. Он почти не почувствовал быстрого укуса золотой змейки, ничего не чувствовал и теперь. Медленно возвращался он домой, не зная, что скажет братьям. Но вот по дороге ему повстречались два человека. Они стояли на одном месте и громко спорили.

- О чем вы спорите? – спросил третий сын, подойдя ближе.

- Я стражник. А этот человек – преступник, - сказал один, показывая на второго. – Он совершил много плохих поступков: грабил, разбойничал, поносил имя нашего правителя. Но наш правитель очень великодушен. Посылая меня на поиски, он сказал, что я должен сохранить преступнику жизнь, если он сумеет убедить меня в том, что его не стоит казнить.

- Воистину, великодушен и справедлив наш правитель! – воскликнул другой, воздев руки к небесам. – Небеса ничем не обидели его, у него есть все! Зачем ему еще и моя голова?.. А тебе моя голова зачем? – обратился он к стражнику. - Если ты ее отрубишь, какая тебе от нее будет польза? Череп у меня кривой, красивой чаши из него не сделаешь. Я не великий завоеватель, моя голова, выставленная на всеобщее обозрение, не заставит трепетать врагов. Более того: никто не знает, кто я такой. Моя казнь не принесет тебе ни славы, ни уважения. Я не животное, и мозг мой в пищу не годен. Как видишь, о доблестный страж, моя голова бесполезна.

- Как ты считаешь, он прав? – спросил стражник третьего сына.

- Да, пожалуй, он прав, - ответил тот. – Его голова бесполезна.

Преступник было обрадовался тому, что смерть миновала его. Но тут третий сын добавил:

- Однако то, что не приносит нам пользы, обременяет нас. Так что ты можешь оказать этому человеку услугу, лишив его головы.

Сказав это, третий сын пошел своей дорогой, не оборачиваясь. По пути он много размышлял над тем, какой совет дал стражнику и пришел к выводу, что его слова были очень мудрыми. Вернувшись в родное село, он с гордостью сообщил братьям, что выбрал мудрость, и те похвалили его, полагая, что это было единственное правильное решение. Но вскоре радость третьего сына померкла: друзья отчего-то стали его сторониться, девушки, которые раньше охотно проводили с ним время, стали говорить, что с ним скучно. Третьему сыну тоже было скучно с бывшими приятелями и подругами, и он пытался заговорить с кем-нибудь еще. Но обычно все были заняты своей работой, а мудрый третий сын рано или поздно начинал давать советы, и его прогоняли, чтобы он не надоедал. Так его гоняли от двора ко двору, смеясь над ним и его мудростью. Третий сын знал, как сделать жизнь этих людей лучше, счастливее, но люди хотели жить так, как они привыкли, как жили их отцы и деды, а не как-то иначе. Они не хотели слушать третьего сына. Так он стал изгоем, а потом и вовсе ушел из села и стал жить в горах отшельником, потому что миру его мудрость была не нужна, а сам он был слишком мудр, чтобы использовать ее в личных целях.

Наконец настала очередь самого младшего, четвертого сына. Нехотя собрался он в путь, нехотя вышел из дома: почти четыре года минуло со смерти отца, старший брат сгинул где-то, другой живет бобылем, третий, как зверь лесной, людей сторонится. Что же будет с ним? Но воля отца – закон, и вот младший сын отправился к горной богине.

Он шел медленно и дошел не скоро, а дойдя, расстроился еще сильнее. Богиня, заметив это, спросила, что так опечалило юношу.

- Отец, умирая, передал моим братьям и мне секрет твоей пещеры, - ответил младший сын старика. – Но твои дары никому из моих братьев не принесли пользы, они только навредили.

- Так чего же хочешь ты?

Юноша ненадолго задумался.

- Я хотел бы получить такой дар, который ни мне, ни кому бы то ни было еще не принес бы вреда.

Богиня улыбнулась своими каменными губами и ответила:

- Что ж, тогда ты можешь уйти отсюда ни с чем.

Младший сын поклонился горной богине.

- Благодарю тебя! – сказал он и, улыбаясь, вышел из пещеры.

С легким сердцем юноша возвращался домой. Он думал о том, что сумел выполнить волю отца, но и горную богиню он не обидел, и теперь он обязательно разыщет своего

старшего брата и снова соберет всю свою семью вместе. А еще ему неожиданно пришло в голову, что отцу следовало просить богиню не за своих детей, а за своих врагов – то-то бы он повеселился!

Прогулки по прошлому Эссе в двух частях

1. Серебряные дети

Пришедшие к нам из прошлого, цельные или покалеченные, грязно-серые или покрашенные характерно-серебряной кладбищенской краской, они еще встречаются во дворах среди наших домов. Никакой эстетики в них нет: объекты массового производства, они, хотя и относятся к жанру советской соцреалистической скульптуры, строго говоря, не являются художественными произведениями. В процессе тиражирования они потеряли тот эстетический флер, который был у некоторых оригиналов. Тем не менее, отрицать культурную ценность этих объектов не следует: пусть это не шедевры на все времена, они представляют собой памятники эпохи, своеобразные исторические документы, выполненные в гипсе.

Эти скульптуры, с одной стороны, должны были приблизить искусство к народу, сделать его доступным в прямом смысле слова. Гипсовые фигуры стояли не на постаментах в человеческий рост (как памятники, скажем, Ленину). Чугунный/бронзовый/каменный Ленин или какой другой небожитель по праву возвышался над гипсовыми простыми смертными, стоящими прямо в парках и на придомовых территориях. Была между этими скульптурами и настоящими, живыми советскими людьми и психологическая близость: пионер с горном, играющие в мяч дети, заводской рабочий, пресловутая девушка с веслом и т.д. – все эти образы были нарочито простыми понятными. С другой стороны, гипсовые граждане советского союза ненавязчиво диктовали гражданам из плоти и крови стереотипы внешнего вида и поведения. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на принципиальную одноликость, а точнее, безликость этих скульптур. Речь идет не только о похожести, например, пионера с горном и девочки с булавами, обручем или мячом, рабочего и доярки (чтобы не сказать колхозницы и не вызвать ненужные ассоциации с действительно оригинальным, хотя также соцреалистическим монументом). Эти гипсовые люди даже делятся с нами своими типичными эмоциями: им может быть радостно, они могут быть на чем-то сосредоточены и т.д. Но дело в том, что весь этот небогатый, впрочем, спектр эмоций выражают лица, лишённые индивидуальных портретных черт. Что это добавляет к нашему пониманию советского прошлого? Упрощенное понимание человека? Отрицание и отторжение личности в пользу стереотипного набора эмоций? Возможно, но вряд ли: сами эти гипотезы были бы свидетельством упрощенного понимания, а точнее, непонимания минувшей эпохи. Да, гипсовые скульптуры представляли упрощенное искусство, но это было искусство на расстоянии протянутой руки.

Сохранившиеся во дворах гипсовые фигуры сейчас выглядят жутковато. Даже у тех, что остались в целости, из-за воздействия окружающей среды сровнялись очертания, окончательно стерлись лица. Гипсовые обмылки покрыты желто-бурыми пятнами лишая, они ссутулились, на многих скульптурах кое-где, словно символизируя поворот эволюции вспять, выросла зеленая моховая шерстка.

В заволжском районе Твери когда-то жил реставратор таких скульптур. Во двор его дома со всего города свозили гипсовых человечков и зверушек. Вскоре после развала Союза реставратор прекратил свою деятельность, а оптом и вовсе умер – а скульптуры, заполнявшие двор, остались. Они стоят там до сих пор, и кто-то, пытаясь их сохранить, покрыл их серебрянкой. Вот и стоит на коленях посреди двора, косясь на гипсовый мяч, безрукий серебрянный мальчик, а рядом склонилась к чему-то однорукая девочка-пионерка без лица, но с крепкими, здоровыми коленками, прикрытыми опрятной юбкой. А дальше льет воду из пустого ведра мальчишка с арматурами вместо руки и ноги – малолетний советский терминатор – на хорошо сохранившуюся босоногую девочку. Словно оживший мертвец, выступает из кустов под окнам зеленоватая девочка-аленка. Неподалеку от нее

вытянул шею безрогий олень. Из его тела, особенно из ног, хищными зубами времени выхвачены целые куски гипсовой плоти. Запрокинул голову и вот уже лет тридцать не смыкает клюв крутобокий петух на шаре, за неимением лап насаженный на толстый стальной прут. Но главное – это все-таки дети, калечные серебряные дети, в пантомиме рассказывающие о советском прошлом, его идеалах и повседневной действительности.

Так сложилось, что хрупкие гипсовые фигуры, пережившие эпоху, их породившую, оказались более прочными, чем государство, пропагандировавшее ту культуру, частью которой они были. Но пройдет еще пара десятилетий, и серебряных уродцев будет уже не найти: часть уберут при облагораживании придомовых территорий, большинство же просто разрушится от времени и погодных условий.

2. Сахарово

Сахарово – сыпучее, хрустящее слово, как сухая осенняя листва под подошвами, как свежесвыпавший сухой крупитчатый снег. Морозно. Кажется, хрустит все, даже солнечный свет.

Вчера я снова приехала сюда на съемки. И снова, как и в первый раз, будто бы уже забыла, как здесь все устроено, я приятно удивляюсь: посреди поселка – обширный парк, время от времени становящийся лесом, дважды – двумя мемориальными комплексами.

По берегам парка протянуты аллеи. В морозном воздухе контуры деревьев видны необыкновенно четко, и четкие тени разостланы на снегу, но не всякая ветка отбрасывает тень, видимую невооруженным глазом. Древесный ритм, стройный, почти нотный рисунок стволов и ветвей удваивается солнечным светом неточно – это как тема и вариация, хотя из настоящих, различимых на слух звуков – только птичий щебет.

Иду через парк к Академии. Вдруг – снегопад среди ясного дня, причем точно над моей головой! Смотрю вверх. Там, на одной из самых высоких веток ближайшей березы – рослой, стройной, в урбанизированном мира такие редко встречаются – сидит тяжелая птица. У птицы округлая бежевая грудка, коричневая спинка, мощный хвост и... уши. Да, уши! То есть, перья на голове птицы растут таким особым образом. Это сапа, дневная сова; ее еще называют северным орлом. Здесь, в Сахарове, вообще невероятно много птиц, ярких и разных, обычно не живущих среди людей: это дятлы, клесты, поползни и многие другие пернатые. И только возникает мысль купить хлеба и накормить его на какой-нибудь пенек – взгляд натывается на пластиковую птичью кормушку.

Сахаровская Академия – раскидиста, крылата. Облик ее в этом году менялся на глазах, приобретая строгие, скользящие, отражающие урбанистические черты. Но за корпусами академии – все та же глубокая, устойчивая даль полей, у самого горизонта задернутая лесом. Ее хорошо видно из окон.

Как и многие мои ровесники, я испытываю особенный культурно-исторический голод. Рожденные в СССР, мы были слишком маленькие, когда огромная советская империя прекратила свое существование. Потом, в школе, нам, конечно, рассказывали что-то, но на слух эти рассказы казались какой-то дикостью – или, по крайней мере, экзотикой. Мы же ничего не помнили и не могли помнить.

Когда мне приходится бывать в области, первое, что я ожидаю увидеть, – это следы советской эпохи, сохранившиеся в архитектуре и скульптурных памятниках, в бытие людей и их поведении, в самом ритме окружающей жизни. Никогда заранее не знаешь, что ты найдешь, но находя, всегда определяешь безошибочно: это оттуда. Декор фасадов или интерьера, рудименты символики, даже выражения лиц людей – это может быть все, что угодно. Приобщение к этим следам подобно путешествию по чужому прошлому, ощущению чужой, почти художественной ностальгии.

Впервые я обнаружила эти следы, разумеется, в своем родном городе Тверь. Там их достаточно много до сих пор, несмотря на постоянное стремление людей старших поколений стереть их или хотя бы замаскировать. Складывается впечатление, что люди не

могут простить себе какой-то судьбоносный поступок – толи предательский, толи геройский. Но это – в областном центре. А в райцентрах, пардон, районных столицах (Старице, Бежецке, Удомле и др.) жители приняли, примирились со своей историей или относятся к ней более лояльно. В сельской местности и вовсе удивительная ситуация: реалии минувших десятилетий так органично соединены с приметам дня сегодняшнего, что и сам разрыв истории, разрыв времени не ощущается. Возможно, тем, кто живет в российской глубинке, не очень-то важно название государства, расположенного на землях их родины...

К числу находок, которые мне удалось обнаружить в результате археологических фотопоисков, прибавилась особенно интересная: в этом году мне довелось побывать на руинах будущего.

За парком, на территории академгородка, расположено несколько зданий, выстроенных давно и на совесть, но уже разрушающихся. В них никогда никто не жил, не учился и не работал, хотя гаражи при этих зданиях (судя по оставленным следам) используются в летнее время года. Сами же постройки пустыют; они не представляют собой ничего особенного – кроме, пожалуй, одного здания на берегу искусственного пруда: оно поражает воображение. Футуристически-непропорциональное, ассиметричное строение разрастается сразу во все стороны, словно пытаясь вобрать в себя как можно больше окружающего пространства. И действительно, внутри здание оказывается огромным: в нем два просторных зала с окнами в три ряда в каждом, несколько лестничных маршей, внутренний грузовой лифт. Находится в здании небезопасно: стены покрыты крупными трещинами и разломами, в которых даже зимой, сквозь наметенный ветром снег зеленеет трава, крыша или обвалилась, или была заранее снята. Но каков был замысел! Это здание, вопреки законам физики необыкновенно устойчиво, монументально нависающее над озером, со стороны представляется даже не следом другой эпохи, а пришельцем из того самого пресловутого «светлого будущего», для нас ставшего пустой формой, но, безусловно, когда-то наделяемого смыслом и содержанием нашими родителями и родителями наших родителей.

С берега озера видны еще два футуристических здания, и видны строительные леса вокруг них: они не только не разрушаются, но и готовятся к эксплуатации. Одно из них, с башенками и конусообразными крышами (вероятно, самое позднее по срокам постройки), выглядит, как заветный сказочный замок вдалеке. Вероятно, это будет здание для торжественных мероприятий, ведь в замках не обходятся без праздников. И ничего, что фонари на аллее, ведущей к нему, уже немного покосились – лампочки в них, как ни странно, целы!